
Ведьма из Сызрани
Касьянов год
ФЕВРАЛЬ
2032
29
День рождения!
Иногда самого угрюмого гостя можно разжалобить. Тортом с вишней.
Касьян
Черти
Високосный год
Ритуалы
Семейные обиды

Милана Панова

# Ведьма из Сызрани. Касьянов год

«Автор»
2026

**Панова М.**

Ведьма из Сызрани. Касьянов год / М. Панова — «Автор», 2026

Високосный 2032 год. Двадцать девятого февраля у Гаши и Алёши первый настоящий день рождения. Но вместо Еремея Касьяновича на чай приходит телеграмма: «Отец просыпается. Берегите Алексея».Отец сызранского чёрта — Касьян Немилостивый. Он спит три года, а на четвёртый просыпается на один день, и всё, на что он посмотрит, вянет. В этот раз он идёт за наследником — за Алёшей, рождённым в Касьянов день.Фиалка сереет, помидоры выцветают, кот Модест начинает лысеть. Двое древних чертей с вилами снимают у соседки летнюю кухню, а на Сызрань обрушивается метель. И Василиса решает сделать то, чего за тысячу лет не делал никто: пригласить Касьяна на торт с вишней.Смешная и тёплая история о старой обиде и о том, как важно, откуда ты смотришь.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1. Телеграмма 6
Глава 2. Маяк 9
Глава 3. Касьян и Никола 13
Глава 4. Проплешина 16
Конец ознакомительного фрагмента. 17

# Милана Панова
# Ведьма из Сызрани. Касьянов год

**Ведьма из Сызрани. Касьянов год**
*Серия «Ведьма из Сызрани». Книга двенадцатая*

# Глава 1. Телеграмма

В январе две тысячи тридцать второго года к Василисе пришли заговаривать телефон.

Не от сглаза. От зарядки.

Клиента звали Арсений. Семнадцать лет, одиннадцатый класс, наушники на шее, куртка нараспашку в двадцать градусов мороза. Он сел на табуретку, положил телефон на стол экраном вверх и сказал:

— Он садится.

— Кто? — спросила Василиса.

— Телефон. — Арсений посмотрел на телефон с выражением глубокой личной обиды. — Утром сто процентов. К обеду — двенадцать. Я его в сервис носил. Сказали — батарея новая. Всё в порядке. — Пауза. — А он садится. Значит — порча.

Модест на печке открыл один глаз.

— Порча, — сказал он. — На телефон. Двести двадцать два года. Дожил.

Арсений, разумеется, услышал «мяу».

Василиса посмотрела на нитки.

От Арсения к телефону шла нитка. Толстая. Горячая. Натянутая, как бельевая верёвка в ветер. А от телефона — во все стороны — сотни других. Тоненьких. Тусклых. К каким-то людям, которых Арсений никогда не видел. К каким-то роликам. К какой-то девочке из параллельного класса, которая ему не отвечала. Нитка к девочке была самая толстая. И самая серая.

— Арсений, — сказала Василиса. — А вы сколько раз в день проверяете, ответила она или нет?

Арсений покраснел. До ушей. До наушников.

— Откуда вы…

— Я ведьма. — Василиса помолчала. — Он не садится. Вы его выпиваете. — Пауза. — Он у вас как колодец, из которого всё время черпают. Воды не остаётся.

— И что делать?

Василиса подумала. Потом встала, взяла с подоконника бабушкину чашку — синюю, с отбитой ручкой — и поставила перед ним.

— Вот обряд, — сказала она очень серьёзно. — Каждый вечер, в девять, кладёте телефон сюда. Экраном вниз. И до утра не трогаете. Это заговорённая чашка. Она силу возвращает. — Пауза. — А девочке скажите сами. Словами. В школе. На перемене.

— Что сказать?

— Что вы её ждёте. Что можно не отвечать. — Василиса помолчала. — Она не отвечает, потому что боится, что вы обидитесь, если ответит не так.

Арсений смотрел на чашку. Долго.

— А если не поможет?

— Тогда придёте ещё раз, — сказала Василиса. — И я вам отдам вторую чашку. Тоже заговорённую.

Арсений ушёл. С чашкой. Калитка пропела ему вслед короткую ноту, похожую на «ну-ну».

Василиса записала в Гроссбух: «Арсений, 11 кл. Телефон садится. Девочка из 11 „А“. Чашка (синяя, бабушкина, без ручки). Оплата: обещал почистить снег у калитки».

— Почистит, — сказал Модест. — Если девочка ответит.

— А если не ответит?

— Тогда тем более почистит, — сказал кот. — С горя. Я знаю этот возраст. Евграф в семнадцать лет весь Затон от снега очистил. Из-за купеческой дочки. Она за другого вышла. А Затон стоял чистый до Масленицы.

Был четверг.

Василиса заметила это только к вечеру. Когда поставила чайник — второй, большой, медный, — и вынула из буфета чашку с вишнями. Еремееву. И банку вишнёвого варенья. И пачку табака — сладкого, с вишней, — который Егор покупал специально в табачной лавке на Советской, потому что такого в Сызрани больше никто не курил.

Еремей Касьянович приезжал по четвергам. Четыре года. С тех пор как стал крёстным. Из Сенгилея. С пересадкой в Ульяновске. В котелке. С тростью. С моноклем. Садился на лавку, говорил «голубушка», пил чай с вишнёвым вареньем, учил Алёшу считать до ста — по-старинному, «аз, буки, веди» — и уезжал последним автобусом.

Четыре года. Ни одного пропущенного четверга. Даже в метель. Даже в ледоход. Даже когда в двадцать девятом году у него, по его словам, была «инфлюэнца», и он приехал с носом, как свёкла, и всё равно учил Алёшу.

В семь вечера его не было.

В восемь — тоже.

Алёша сидел у окна. На подоконнике. В пижаме. Смотрел на улицу. Молчал. Он вообще много молчал, но это было другое молчание. Ждущее.

В девять Василиса позвонила. Телефон Еремея Касьяновича — старый, кнопочный, с антенной, который ему Егор подарил на крестины, — не отвечал.

В десять в калитку постучали.

Калитка не запела. Это было странно. Калитка пела всегда. На всех. Даже на почтальонку Валю — короткую, деловую ноту.

Василиса вышла на крыльцо.

У калитки стояла почтальонка Валя. В пуховике. В валенках. С сумкой. С красным носом. С таким лицом, будто она увидела привидение.

— Василиса Андреевна, — сказала она. — Вам телеграмма.

— Что?

— Телеграмма. — Валя протянула бланк. Серый. С узкими бумажными полосками, наклеенными в строчку. — Я тридцать лет на почте. Я последнюю телеграмму видела в двадцать втором году. Мне её начальница показывала. Как музейную. — Пауза. — А тут — пришла. Сама. На аппарат. На старый. Который в подсобке стоит. Без проводов. — Валя сглотнула. — Он застучал. Я думала — мыши.

Василиса взяла бланк.

Буквы были печатные. Голубоватые. На узких полосках.

«ГОЛУБУШКА ЗПТ НЕ ПРИЕДУ ТЧК ГОД ВИСОКОСНЫЙ ТЧК ОТЕЦ ПРОСЫПАЕТСЯ ТЧК ДО МАРТА ЧЕТВЕРГОВ НЕ БУДЕТ ТЧК БЕРЕГИТЕ АЛЕКСЕЯ ТЧК НЕ ИЩИТЕ МЕНЯ ТЧК ПРОСТИТЕ ТЧК ЕРЕМЕЙ».

Василиса прочитала. Два раза.

— Отец, — сказала она вслух.

— Чей отец? — спросила Валя.

— Не знаю, — сказала Василиса. Честно. — Спасибо, Валя. Чаю?

Валя посмотрела на дом. На тёмные окна. На трубу, из которой шёл дым. На кота, который сидел на подоконнике и смотрел на неё жёлтыми глазами.

— Нет, — сказала она. — Спасибо. Я пойду. Мне ещё аппарат выключить. — Пауза. — Если он выключается.

И ушла. Быстро. По скрипучему снегу.

На кухне Василиса положила телеграмму на стол. Под лампу.

Модест спрыгнул с печки. Прочитал. Через её плечо.

Шерсть у него на загривке медленно поднялась.

— Васёна, — сказал он. — Какое у Ерёмы отчество?

— Касьянович.

— Касьянович, — повторил кот. — Двести двадцать два года. Четыре года он у нас по четвергам чай пьёт. — Пауза. — А я ни разу не подумал. Ни разу.

Из-под печки вылез Фрол Евсеич. Целиком. В тельняшке из пушицы. С пультом в руке. Пульт он, кажется, забыл положить.

Прочитал телеграмму. Шевеля губами.

Сел на пол. Прямо где стоял.

— Ох ты, — сказал он. — Ох ты ж, девка.

— Что?

Фрол Евсеич посмотрел на неё снизу вверх. Глаза у домового были круглые. Как пятаки.

— Касьян, — сказал он. Шёпотом. Как будто боялся, что услышат. — Касьян Немилостивый. — Пауза. — Он что ж, — Фрол Евсеич повернулся к Модесту, — он что ж — Ерёмин папаша?

— Выходит, так, — сказал Модест.

— Ох ты, — повторил домовой.

Алёша слез с подоконника. Подошёл. Посмотрел на телеграмму. Читать он ещё не умел — Еремей учил его буквам по-старинному, и пока Алёша знал только «аз», «буки» и «покой». Но он посмотрел на бланк долго и серьёзно. Как будто всё равно что-то прочитал.

— Деда Ерёма боится, — сказал он.

— Чего он боится, Алёша?

Алёша подумал. Поискал слово.

— Что его папа на меня посмотрит, — сказал он.

На кухне стало тихо.

Гаша, которая сидела в углу на коврике со своим злыднем — маленьким, серым, круглым, она кормила его с ложки манной кашей, а он ел и жмурился, — подняла голову.

— Пусть посмотрит, — сказала она. Строго. Нахмурившись. Как Евдокия Марковна. — Я тоже посмотрю.

Злыдень у неё на коленях перестал есть. Посмотрел на Гашу. Потом на телеграмму.

И впервые за полгода, что жил у них, — тихо, хрипло, испуганно — сказал своё единственное слово.

— Мало.

Только сказал его не про кашу.

Он сказал его — про время.

# Глава 2. Маяк

В Сенгилей Василиса поехала в субботу. Хотя Еремей написал «не ищите».

— Черти так пишут, — сказал Модест. Он сидел в сумке, высунув голову, и смотрел на заснеженную трассу за окном рейсового автобуса. — «Не ищите» — это у них как у людей «позвони мне». Только гордость не позволяет.

— Ты откуда знаешь?

— Двести двадцать два года, — сказал кот. — Я с ним в восемьсот шестьдесят восьмом на Молодецком кургане сидел. Три дня. Он мне тогда сказал: «Модест, никогда меня не ищи». А сам на четвёртый день пришёл. С пирогом. Говорит — «а ты чего не искал?»

Детей Василиса оставила с Егором. Егор взял отгул. Сказал — «я с ними посижу». Василиса потом узнала, что «посидел» он так: Гаша подняла в воздух сарай вместе с курами, потому что куры громко разговаривали, а Алёша весь день просидел на подоконнике и ждал четверга, хотя была суббота. Злыдень съел три кастрюли каши. Устя пряла. Фрол Евсеич смотрел телевизор с выключенным звуком и шевелил губами.

Сенгилей зимой был белый, тихий и пустой. Как будто его выдохнули.

Маяк стоял на высоком берегу над Куйбышевским морем. Белая башня. Красная верхушка. Рядом — деревянный дом смотрителя, низкий, с наличниками, с дымом из трубы. На двери — табличка, новая, деревянная: «Музей бакенщиков Средней Волги. Закрыт до апреля. Звонить в колокольчик».

Василиса позвонила в колокольчик.

Дверь открыла Пелагея Саввишна.

В валенках. В пуховом платке. В переднике, перепачканном мукой. С распущенными волосами — седыми, длинными, до пояса. И с кольцом на безымянном пальце. Простым. Медным. Похожим на кольцо от бакенного фонаря.

— Василиса Андреевна, — сказала она. Без удивления. — Я знала, что вы приедете. — Пауза. — Он тоже знал. Поэтому ушёл на лёд.

Модест высунулся из сумки. Посмотрел на кольцо.

— Поля, — сказал он. Очень вежливо. — Это что?

Пелагея Саввишна посмотрела на свою руку. Чуть покраснела. Как девчонка.

— Это Глеб сделал, — сказала она. — Из фонаря. Сам. На Рождество. — Пауза. — Мы в Сенгилее расписались. Тихо. Двое свидетелей. Еремей Касьянович — и сторож Ильич.

Модест медленно втянул голову обратно в сумку.

Из сумки донеслось — глухо, довольно, мстительно:

— Фрол. Три сметаны. Я ставил — «поженятся». С тебя.

— Он не слышит, — сказала Василиса.

— Услышит, — сказал Модест из сумки. — Я ему вечером скажу. С выражением.

В доме смотрителя пахло пирогами, печкой, керосином и старой бумагой. По стенам висели фонари — бакенные, сигнальные, керосиновые, красные и белые. На полках — лоции, вахтенные журналы, фотографии бородатых бакенщиков в бушлатах. За столом у окна сидел Глеб Борисович Шаповалов. Седой. Большой. В свитере с оленями. Чинил фонарь. Увидел Василису — встал. Пожал руку. Ничего не спросил. Кивнул на окно.

— Там, — сказал он. — Третий день сидит. Не ест.

Василиса подошла к окну.

Внизу, под обрывом, начиналось море. Белое. Плоское. До горизонта. Лёд — толстый, январский, в снегу. И далеко, метрах в трёхстах от берега, на льду, — чёрная точка.

Человек. Сидел. На раскладном стульчике. Как рыбак у лунки. Только удочки не было.

— Он там с четверга, — сказала Пелагея Саввишна. Тихо. — Сидит и смотрит на воду. В лунку. — Пауза. — Говорит, оттуда лучше видно, как отец спит. Через лёд. Через воду. Через дно. — Она помолчала. — Говорит — отец под Жигулями спит. В Касьяновой яме. Три года. А в високосный — ворочается.

Василиса надела валенки Глеба Борисовича — на три размера больше. Взяла сумку с Модестом. И пошла на лёд.

Было тихо. Только снег скрипел.

Еремей Касьянович сидел на раскладном стульчике у круглой лунки. В котелке. В пальто. С тростью поперёк колен. С незажжённой трубкой в зубах. Смотрел в чёрную воду.

Он не обернулся.

— Я же написал, — сказал он. — «Не ищите».

— Вы написали «простите», — сказала Василиса. — Простить — можно только в лицо.

Еремей помолчал.

— Это вы у Пелагеи нахватались, — сказал он. — Это её словечки. Свашьи.

Василиса поставила сумку на лёд. Модест вылез. Сел рядом с лункой. Посмотрел в воду.

Вода была чёрная. Глубокая. И где-то очень далеко внизу — Василиса повернула ручку настройки и вздрогнула — что-то было. Огромное. Тёмное. Спящее. Как гора, которая легла отдохнуть.

И от этого огромного — вверх, сквозь воду, сквозь лёд, — тянулась нитка. Одна. Толстая. Чёрная. С табачной искоркой.

К Еремею.

— Расскажите, — сказала Василиса.

Еремей Касьянович долго молчал. Потом вынул трубку изо рта. Повертел в пальцах.

— Голубушка, — сказал он. — Вы знаете, кто такой Касьян?

— Слышала. Бабушка говорила — «Касьян на что ни взглянет, всё вянет». — Пауза. — Я думала — поговорка.

— Поговорка, — согласился Еремей. — Все так думают. — Он помолчал. — А это — папаша мой. Касьян Немилостивый. Касьян Завистливый. Касьян Кривой. Как только не звали. — Пауза. — Старший он у нас. Над всеми чертями Средней Волги. Над всеми Касьяновыми. От Казани до Саратова.

— Касьяновыми?

— Ну, мы все — Касьяновичи, голубушка, — сказал Еремей. Устало. — Все сызранские, все самарские, все симбирские. У нас у всех отец один. Он нас… ну, не родил. Сделал. Из обид. Из зависти. Из того, что люди друг на друга косо смотрят. — Он покачал головой. — Он ведь сам — из взгляда. Из косого. Из завистливого. Весь.

Модест у лунки не шевелился.

— Он три года спит, — продолжал Еремей. — Веки у него до земли. Тяжёлые. Как ставни. Сам их поднять не может. — Пауза. — А на четвёртый год, двадцать девятого февраля, — просыпается. На один день. И слуги ему веки поднимают. Вилами. — Еремей криво усмехнулся. — Это не сказка, голубушка. Вилами. Железными. Я сам в молодости поднимал. Три раза. Тяжело.

— И он смотрит.

— И он смотрит, — сказал Еремей. — Один день. И на что посмотрит — то вянет. Скотина падает. Дерево сохнет. Человек — хворает. Пшеница полегает. — Он помолчал. — Поэтому раньше в Касьянов день из дома не выходили. Ставни закрывали. Скотину в хлев. Детей — на печку.

— А в этот раз?

Еремей посмотрел на неё. Поверх монокля. Глаза у него были усталые. Старые. И — Василиса никогда такого не видела — испуганные.

— А в этот раз, голубушка, — сказал он, — у него есть внук.

Ветер прошёл по льду. Поднял снежную позёмку. Опустил.

— Алёша, — сказала Василиса.

— Алексей Егорович, — сказал Еремей. — Рождённый на Касьяна. Двадцать девятого февраля двадцать восьмого года. В три часа ночи. Крестник Касьяновича. — Пауза. — По нашим законам, голубушка, — это наследник. Чёртов. Первый за триста лет. — Он смотрел в лунку. — У Касьяна сыновей — сотни. Внуков — ни одного. Мы ж не женимся. Не умеем. Детей у нас нет. — Пауза. — А тут — крестник. Самый близкий родственник, какой у чёрта может быть.

— И он его заберёт?

— В науку, — сказал Еремей. — Так это называется. «В науку». На четвёртый год. Когда мальчику исполнится — четыре. По-настоящему. Двадцать девятого. — Он помолчал. — Я, голубушка, когда к вам на крестины шёл, — я не думал. Мне так хотелось, чтобы у меня кто-то был. Хоть так. Хоть крестник. Я про отца забыл. Триста лет его не видел. Он спит — я живу. Он просыпается — я на маяк уезжаю. Подальше. — Пауза. — А он, оказывается, всё знает. Он через лёд видит. Он мне сон прислал. В четверг. Под утро.

— Какой?

Еремей Касьянович закрыл глаза.

— Голос, — сказал он. — Только голос. «Ерёмка. Внука покажешь. На четвёртый год. Сам приду». — Пауза. — Ерёмка. Он меня так звал. В тысяча шестьсот восемьдесят третьем. Когда я от него ушёл.

— Ушли?

— Сбежал, — поправил Еремей. — В Сызрань. Под мост. Его тогда ещё не было — моста. Был перевоз. Я под перевозом жил. — Он открыл глаза. — Ваша прародительница как раз узел вязала. На валу. Я смотрел. Из-под перевоза. Мне понравилось. Я решил — останусь. Тут люди интересные. — Пауза. — Отец сказал — «вернёшься». Я не вернулся.

Он замолчал.

Модест тихо сказал, глядя в лунку:

— Ерёма.

— Чего тебе, кот?

— Он тебя за триста пятьдесят лет ни разу не навестил?

Еремей подумал.

— Ни разу, — сказал он.

— А ты его?

Еремей Касьянович долго молчал. Смотрел в чёрную воду. На огромное, тёмное, спящее — далеко внизу.

— Тоже ни разу, — сказал он наконец. Тихо. — Боялся, кот. Что посмотрит. И я — завяну.

Василиса стояла на льду. Ветер дул в лицо. Валенки Глеба Борисовича промокли насквозь.

— Еремей Касьянович, — сказала она. — Пойдёмте в дом. Пелагея Саввишна пироги испекла. — Пауза. — А в четверг — к нам. Алёша ждёт. Он с четверга на подоконнике сидит.

— Я не могу, голубушка. Он через меня смотрит. Нитка-то — вот. — Еремей показал на чёрную нитку, уходящую в лунку. Он, оказывается, тоже её видел. — Я к вам приду — он через меня на Алёшу посмотрит. Раньше времени.

— А если не придёте, — сказала Василиса, — Алёша будет сидеть на подоконнике. До двадцать девятого. — Пауза. — И тогда его не надо будет забирать. Он сам завянет. От ожидания.

Еремей Касьянович посмотрел на неё.

Потом встал. Сложил стульчик. Взял трость.

— Вы, голубушка, — сказал он, — ужасно похожи на Анфису. Я вам уже говорил?

— Говорили.

— Анфиса тоже всегда била в самое больное, — сказал Еремей. — И всегда — по делу.

Они пошли к берегу. Втроём. По скрипучему снегу.

Модест бежал впереди. Высоко поднимая лапы. На полпути обернулся.

— Ерёма, — сказал он. — А в четверг — с пирогом?

— С пирогом, — сказал Еремей Касьянович. — С Пелагеиным. С вишней.

— Тогда я тебя искал, — сказал Модест. — Запомни. Я искал. Двести двадцать два года — а искал.

Еремей Касьянович засмеялся. Первый раз за три дня. Хрипло. Как ворона.

А под ними — глубоко-глубоко, подо льдом, под водой, под дном, под Жигулями, — огромное, тёмное, спящее медленно повернулось на другой бок.

И лёд у них за спиной, там, где была лунка, — тихо треснул.

# Глава 3. Касьян и Никола

Фрол Евсеич рассказал в тот же вечер. Когда Василиса вернулась из Сенгилея, а дети уснули.

Он вылез из-под печки. Сел на лавку — на Еремееву лавку, на которую обычно никто не садился. Сложил на коленях корявые руки.

— Это, девка, старая история, — сказал он. — Мне её мой дед рассказывал. А ему — его. А тому — я не знаю кто. Может, сам Никола. — Пауза. — Слушай.

Модест на печке лёг поудобнее. Устя за печкой перестала прясть. Даже злыдень у Гашиной кроватки высунул нос.

— Шли раз по дороге двое, — сказал Фрол Евсеич. — Касьян да Никола. Оба — святые. Ну, то есть, Никола-то святой. А Касьян — тогда ещё тоже считался. — Пауза. — Идут. Весна. Распутица. Грязь — по колено. И видят: мужик. С телегой. Телега увязла. По ступицы. Лошадь бьётся, мужик бьётся — ни в какую. — Домовой помолчал. — Мужик говорит: «Подсобите, добрые люди». — Пауза. — Никола — сразу. Ризу подобрал, в грязь полез, плечом в телегу упёрся. А Касьян стоит на обочине. Смотрит. И говорит: «Я в райской ризе. Мне её пачкать не положено. Мне в ней перед Господом стоять».

— И не помог? — спросила Василиса.

— Не помог, — сказал Фрол Евсеич. — Никола с мужиком телегу вытащили. Никола весь в грязи. Риза — как у свинопаса. — Пауза. — Приходят они к Господу. Господь смотрит: один чистый, другой грязный. Спрашивает: «Ты, Никола, чего грязный?» Тот рассказал. «А ты, Касьян, чего чистый?» — «Ризу берёг». — Фрол Евсеич поднял палец. — И Господь сказал: «Николе за то — два праздника в год. Весенний и зимний. А тебе, Касьян, — один. Раз в четыре года».

На кухне было тихо.

— Вот и всё, — сказал домовой. — Вот с тех пор у Касьяна — двадцать девятое февраля. Раз в четыре года. А у Николы — два раза в год. И Николу все любят. А Касьяна — боятся. — Он помолчал. — Касьян, говорят, с тех пор и обиделся. На всех. На Николу. На мужика. На людей. И стал смотреть косо. А от косого взгляда — всё вянет.

— Это сказка, — сказала Василиса. Неуверенно.

— Сказка, — согласился Фрол Евсеич. — А ты Ерёму спроси. Он тебе скажет, сколько в этой сказке правды. — Пауза. — Я тебе так скажу, девка. Я в этом доме двести шестьдесят лет. Я шесть Касьяновых дней пересидел. Каждые четыре года — ставни на засов, скотину в хлев, детей на печку. И каждый раз — назавтра — кто-то на улице хворал. Корова падала. Яблоня сохла. — Домовой покачал головой. — Он ведь не со зла. Он просто — так смотрит. Как привык. Тысячу лет.

Модест на печке сказал:

— Фрол.

— Чего?

— Пелагея с Глебом поженились. На Рождество. Кольцо из бакенного фонаря. — Пауза. — Три сметаны.

Фрол Евсеич посмотрел на кота. Долго.

— Это ты сейчас, — сказал он, — когда я про Касьяна рассказываю, — про сметану?

— Ставка есть ставка, — сказал Модест. — Касьян Касьяном, а долг — долгом.

Фрол Евсеич подумал.

— Отдам, — сказал он. — Мудрость.

— Шулерство, — сказал Модест. И вдруг добавил, тише: — Фрол. А ты Касьяна видел? Сам?

Домовой молчал долго.

— Один раз, — сказал он наконец. — В тысяча восемьсот сорок восьмом. В холерный. Я тогда ещё молодой был. Двести лет. Глупый. — Пауза. — Выглянул в окно. В Касьянов день. Хотелось посмотреть.

— И что?

— Он по улице шёл. Высокий. В белом. Чистом-чистом. Как снег. — Фрол Евсеич говорил медленно, как будто вытаскивал слова из глубокого колодца. — А по бокам — двое. С вилами. Веки ему держат. А веки — до земли. Как полотенца. — Пауза. — И он шёл — и смотрел. Направо. Налево. Как барин на ярмарке. И где посмотрит — там серое. Забор сереет. Снег сереет. Собака скулит и под крыльцо лезет.

— А на тебя посмотрел?

— Не успел, — сказал Фрол Евсеич. — Я под печку. — Пауза. — Но он остановился. Перед нашим домом. Перед этим самым. И стоял. Долго. — Домовой поднял на Василису круглые глаза. — Наличники смотрел. Евграфовы. С птицами.

— И что?

— И ничего, — сказал Фрол Евсеич. — Наличники не завяли. Птицы — как были. — Пауза. — Он постоял и пошёл. Дальше. — Домовой помолчал. — Я потом думал — почему. Сто восемьдесят лет думаю. Не придумал.

В четверг Еремей Касьянович приехал.

С пирогом. С Пелагеиным. С вишней. С пересадкой в Ульяновске.

Алёша увидел его из окна. Слез с подоконника. Не побежал — Алёша никогда не бегал. Пошёл. Медленно. Через кухню. Через сени. На крыльцо. В пижаме. Босиком. По снегу.

Дошёл до калитки. Остановился. Посмотрел на крёстного снизу вверх.

— Ты долго, — сказал он.

— Долго, Алексей Егорович, — согласился Еремей. И голос у него сорвался. — Прости.

Алёша подумал. Поискал слово.

— Ладно, — сказал он. И взял крёстного за руку.

Калитка пропела. Длинно. С облегчением. Как будто тоже ждала.

Они пили чай. Еремей Касьянович учил Алёшу буквам. «Аз. Буки. Веди. Глаголь». Алёша повторял. Гаша кормила злыдня пирогом и спрашивала у Еремея, почему у него такое смешное стёклышко в глазу. Еремей отвечал, что это — чтобы видеть правду. Гаша говорила, что она правду и так видит. Еремей говорил: «Верю». Модест на печке съел три куска пирога — с вишней, без сметаны — и сказал, что это компромисс, на который он идёт только из уважения к Пелагее Саввишне.

Было хорошо.

Василиса сидела у окна. Смотрела на всех. И видела нитку.

Чёрную. Толстую. С табачной искоркой. От Еремея — вниз. В пол. Сквозь пол. Под землю. Под Волгу. Под Жигули.

Нитка была натянута. Сильнее, чем на льду в Сенгилее.

И ещё — Василиса присмотрелась — она пульсировала. Медленно. Раз в минуту. Как дыхание очень большого, очень тяжёлого спящего.

На подоконнике у Василисы стояла фиалка. Бабушкина. Узамбарская. Тёмно-лиловая. Ей было тридцать лет. Она цвела каждый январь — как по часам.

В тот вечер, когда Еремей уехал последним автобусом, Василиса подошла к подоконнику.

Фиалка стояла серая.

Не засохшая. Не мёртвая. Серая. Как будто кто-то посмотрел на неё — долго, без интереса, как смотрят на прошлогоднюю газету. И она — от этого взгляда — выцвела.

Лепестки — серые. Листья — серые. Даже горшок — Василиса потрогала — стал холодный.

Модест сел рядом. Посмотрел на фиалку.

— Он через Ерёму смотрит, — сказал кот. — Ерёма же говорил.

— Ерёма был тут четыре часа.

— Четыре часа, — согласился Модест. — И он сидел — вот тут. — Кот показал лапой на лавку. Лавка была у окна. Прямо у фиалки. — Четыре часа. Через сон. Через лёд. Через нитку. — Пауза. — Это он ещё не проснулся, Васёна. Это он во сне — краешком.

Утром Зинаида Павловна позвонила в семь.

— Василиса, — сказала она. Голосом завуча, у которого в школе прорвало трубы. — Зайди. В теплицу. Сейчас.

Зинаида Павловна выращивала зимние помидоры. Уже четыре года. С того самого декабря, когда у неё в теплице помидоры покраснели на Новый год, и она села в сугроб. С тех пор она провела в теплицу обогрев, лампы, автополив, датчики. Помидоры росли круглый год. Розовые. Сладкие. Сызранские. Она возила их на рынок и всю выручку отдавала в кассу взаимопомощи.

Василиса пришла.

В теплице было тепло. Горели лампы. Шумел автополив.

Помидоры висели на кустах. Сотни. Крупные. Спелые.

Серые.

Все. До одного. Как будто их нарисовали простым карандашом.

Зинаида Павловна стояла посреди теплицы. С блокнотом. И не записывала.

— Ночью, — сказала она. — Вчера вечером были красные. Я проверяла. В одиннадцать. — Пауза. — А утром — вот.

Василиса посмотрела на нитки. От теплицы — во все стороны. К Зинаиде Павловне, к кассе, к рынку, к людям, которые эти помидоры ели.

И одна — вниз. Чёрная. Тонкая. Как волосок. С табачной искоркой.

— Зинаида Павловна, — сказала Василиса. — Вчера вечером Еремей Касьянович к вам заходил?

Зинаида Павловна моргнула.

— Заходил, — сказала она. — На автобус шёл. Мимо. Остановился у забора. Сказал — «Зинаида Павловна, какие у вас помидоры замечательные». — Пауза. — Он всегда так говорит. Каждый четверг. Я ему всегда — пакет. На дорогу.

— Он на них посмотрел?

— Ну, посмотрел, — сказала Зинаида Павловна. — Он же их хвалил. Как хвалить и не смотреть?

Василиса молчала.

Зинаида Павловна посмотрела на неё. Внимательно. Как завуч смотрит на ученика, который знает, кто разбил окно, но не говорит.

— Василиса, — сказала она. — Это ведь не он. Еремей Касьянович — не мог. Он мне в прошлом году помидоры от тли заговорил. Сам. Без просьбы.

— Не он, — сказала Василиса. — Не он, Зинаида Павловна.

— А кто?

Василиса посмотрела на чёрный волосок. Уходящий вниз.

— Его папа, — сказала она.

Зинаида Павловна долго молчала. Потом открыла блокнот. Записала. Крупно. С нажимом.

«Помидоры — серые. 23 января. Причина — папа Е. К.».

Подумала. И дописала ниже:

«Выяснить, кто такой папа. Принять меры».

# Глава 4. Проплешина

Модест обнаружил проплешину во вторник. В шесть утра. В зеркале.

Зеркало было бабушкино. Овальное. В деревянной раме. Висело в сенях. Модест в него не смотрелся — он считал, что смотреться в зеркало для кота унизительно, кот должен знать, как он выглядит, изнутри. Но в тот вторник он шёл через сени, а в сенях было светло от снега, и он увидел.

На боку. Слева. Над рёбрами.

Пятно. Размером с пятирублёвую монету. Розовое. Голое.

Модест остановился. Посмотрел. Повернулся другим боком. Посмотрел снова.

Пятно было на месте.

Василиса проснулась от звука, которого никогда раньше не слышала. Низкого. Протяжного. Похожего одновременно на сирену, на волчий вой и на скрип несмазанной калитки.

Она выбежала в сени.

Модест сидел перед зеркалом. И выл.

— Модест! Что?!

Кот повернулся к ней. Медленно. Жёлтые глаза были огромные.

— Смотри, — сказал он. Голосом человека, у которого сгорел дом.

Василиса посмотрела.

— Ой, — сказала она.

— «Ой», — повторил Модест. — Двести двадцать два года. Шерсть — как вороново крыло. Без единого рыжего волоска. Самый красивый кот Самарской губернии. Пятьдесят два миллиона просмотров. — Пауза. — А теперь — «ой».

— Может, это лишай?

Модест посмотрел на неё так, что Василиса пожалела, что родилась.

— У меня, — сказал кот, — не бывает лишая. У меня не было лишая в холеру. В тиф. В испанку. У меня не было лишая, когда Евграф притащил с ярмарки шелудивого щенка и положил его ко мне на печку. — Пауза. — Это не лишай.

Василиса присела. Повернула ручку настройки.

Шерсть вокруг пятна была чёрная. Блестящая. Живая. А на самом пятне — серая. Как фиалка. Как помидоры. И от пятна — тонкий, как волосок, чёрный, с табачной искоркой, — вниз.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.